

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА



Из прошлого века. Воспоминания

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ

I

Начинал с рассказов. В студенческие годы печатался в детских и молодёжных газетах. После окончания геологического поступил в Литературный институт им. Горького в группу переводчиков с казахского на русский. Переводил прозу и стихи: профессиональный литератор обязан овладеть всеми жанрами.

Лекционных курсов не помню. В памяти остались лишь отдельные эпизоды.

Профессор Пухов, невысокий, дворянско-интеллигентный старичок, влюблённый в Пушкина.

В первую же осень организовал нам автобусную поездку в Болдино. Свинцовый октябрьский дождь. Непролазные дороги. За километр от цели застряли. Со стороны села идёт по обочине мужик. Студенты окружили: живой болдинец. «Дед, небось Пушкина видел? Он у вас в Болдино жил». Мужик оглянулся на виднеющееся в лесу село и обстоятельно объяснил: «Я летось в Краюхе пробыл, дочке помогал. Кто его знает, можа, старуха кого и пустила на постой. Здесь разные бывают. А из себя какой?»

Эта встреча прибавила нам энергии – мы враз вытолкнули автобус. Профессор Водолагин (мы звали его между собой, почему-то, барон Водо-Влаген) обучал истории СССР. Бывший секретарь сталинградского обкома по идеологии. От старых пристрастий остались, кажется, усы по-сталински. Новое поддерживал: побрил голову под Хрущёва. И сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что он и далёкое будущее предвидел: бровями был вылитый Брежнев.

На ознакомительных лекциях, проверяя познания нового набора в своём предмете, применял индивидуальный подход. Грузина спрашивал про Георгиевский договор о вхождении под покровительство; украинца пытал о документах Переяславской рады. Мне задавал вопрос, подмигивая аудитории: «А ну-ка, расскажи, когда вы в первый раз пошли на Русь» Я попросил уточнить: «Под «вы» имеется в виду Казахская ССР?»

Древнерусскую литературу преподавал профессор Сидельников. Вместе с Ауэзовым издал в 51-м том казахских сказок в Москве, за что обоим приписали буржуазный национализм: в сборник «просочились» сказки, где персонажили мудрые ханы и богатеи.

Именно Сидельников предложил мне тему для курсовой: «Слово о полку Игореве». Я из уважения к профессору отнёсся к работе слишком серьёзно – не переписал, как и надо было, пару страниц из учебника, но пошёл в Ленинскую библиотеку, залез в каталоги, и курсовая завершилась через пятнадцать лет книгой «Аз и Я».

... По вторникам проводились творческие семинары. Нашим руководил поэт Лев Озеров, опытный переводчик. В семинаре – ребята и девушки из Москвы, Литвы, Азербайджана, Грузии, Армении, Чечено-Ингушетии. Многие уже с дипломами других вузов. Мыслящие, знающие, свободные в суждениях и оценках всего. Мы были учениками и учителями друг другу. Здесь формировалось мировоззрение, редактировался характер. Тимур Зульфикаров, Суламита Фридбург, Саша Эбаноидзе...

Мечтаю издать книжку о времени, проведённом в стенах Литинститута, о студенческой среде, которая жила лозунгом: «Хочешь быть счастливым? Будем!».

II

Переводы стихов не получались: много отсебятины, рваные размеры. Гладкий одиннадцатисложник «бармак», коим работали поголовно все мои авторы, не гляделся на русском. Он соответствовал размеру популярной песни «Эй, камаринский, камаринский мужик!», и, как я ни изворачивался, во всех предложенных мною стихах слышался этот плясовой мотив, который не желал монтироваться с нешуточным содержанием – революция, трагическая безответная любовь авторов к партии.

Я убеждался – прозу можно пересказать почти стопроцентно, стихи же теряют в переводе подчас самое главное. Переведённое стихотворение – это перевернутый ковёр: узор виден, но – не волшебный ворс поэзии!.. Конечно, чаще встречались «ковры» без этого излишества – типа паласов, но у меня и с такими не ладилось. Задавали работы идиомы, например, такая, как традиционное обращение к близкому, самому дорогому человеку: «о, баурым!» – буквально «о, моя печень!». В Древнем Риме и Вавилоне это выражение поняли бы правильно, потому что и у них печень считалась главным органом, средоточием жизни. В других, европейских культурах – сердце. Я и передавал, казалось бы, адекватно – «о, мое сердце!». Но автору не нравилось, он требовал буквального, я убеждал – для русского читателя такое обращение больше говорит не о чувствах лирического героя, а напоминает жалобу на цирроз. Автор сопротивлялся, и я в конце концов понял причину: для казахского слуха выражение «о, моё сердце» равносильно было признанию в стенокардии.

И таких несовместимостей наши культуры наработали достаточно, чтобы начинающему толмачу прийти в отчаяние. Я сдался после одной встречи с

рядовым, на мой взгляд, автором. Он приехал по делам в Москву, разместился в люксе одноимённой гостиницы. Я принёс перевод его поэмы об окончательной победе бедняков над ненавистными баями. Поэт отвлёкся от застолья, полистал рукопись. Стол с ним делил его штатный, московский переводчик. Он тоже глянул, тоже не одобрил. Автор ещё раз выпил и закусил удила:

– Не моё! У меня – огонь! Пламя! Я в стихах пою! А у тебя – рычание.

Меня тогда главное – завести, и я поехал: «Хочешь петь? Пей!»

Покончил с переводческой деятельностью. Начал рифмовать своё.

III

Каждый день ездил троллейбусом от Бутырского хутора (общежитие) до Тверского бульвара (институт) и обратно. На пути следования (где-то посередине) располагалась редакция «Огонька» (ул. Правды). Другие журналы – далеко в стороне от троллейбусного маршрута. Этим и объясняется выбор редакции, оказавшийся счастливым. Первое же стихотворение – «Аргамак» – принёс в «Огонёк». Отделом поэзии заведовал пожилой флегматичный поэт Кудрейко. Книг его не читал, но имя было знакомо по хрестоматии благодаря Маяковскому, в своё время наотмашь охарактеризовавшего московскую литературную среду:

... кудреватые Митрейки,

мудреватые Кудрейки –

кто их к чёрту разберёт!

Кудрейко показался навсегда ушибленным этой оценкой. При разговоре смотрел не в глаза, а на кончик своего красного карандаша, только что вспахавшего страницу с моим творением.

Я переделал, пришёл через неделю. Он опять аккуратно исчеркал и ровным тихим голосом объяснил карательные действия.

Я усиливал, и снова меня отбрасывали на исходные позиции. Крепость Кудрейко не сдавалась, но и во мне нарастало сопротивление.

Возвращался в общагу, до рассвета изводил бумагу. Казалось, предел совершенства: рифмы, аллитерации, образы – всё на месте. Каждый звук – как стук копыта. Они в своём столичном журнале такого степного стиха отродясь не видели!

Машинистка в институтской канцелярии, вздыхая, перепечатывала двадцатый, тридцатый вариант, говорила осторожно-доброе «значительно лучше». Я летел в «Огонёк»!

Потом ехал в общежитие по сумеречной Москве с измятой, окровавленной страницей в кармане пальто. Что теперь? Геологию бросил, с переводами не получилось. Возвращаться в Алма-Ату и пожизненно «Трамвайтрест»? Мама в детстве всегда пугала этим таинственным словом: «Если будешь плохо учиться – в Трамвайтрест пойдёшь!» Всё, баста! Хватит с меня мудреватоздреватых! В Трамвайтрест!

И через день-другой прозвучит в тебе звонкая труба – баста! И ты опять седлаешь взмыленного аргамака.

(Есть ли какая-нибудь хитрая связь между итальянским *basta* со значением «кончай» и казахским «баста» – прямо противоположным «начинай»? Но между этими перетекающими друг в друга командами – вся наша жизнь.)

«Что такое скульптура? Это кусок породы, от которой отсечено всё лишнее». Сам того не очень желая, Кудрейко преподавал мне уроки отсекающего лишнего, пытаюсь отсечь меня от своего журнала. Я ускоренно прошёл как бы два Литературных института, один – на Тверском бульваре, другой – на улице Правды. (Нет, был ещё и третий – на Бутырском хуторе. Общежитие.)

«Они любви нас нелюбовью учат» – эти слова Риммы Казаковой заставляют с благодарностью вспомнить многих встреченных мною в жизни таких педагогов. Хотя, естественно, не так тепло, как тех, что учили любовью.

IV

Моя стипендия сообща проедалась в первые же дни месяца. Потом небольшие (по возможностям) переводы из дома, от тётки Сарвары, дяди Фазыла, дяди Артыка... И это уходило на «казахское гостеприимство».

В жутких промежутках меня подкармливал четвёртый, женский этаж в общежитии. Девушки более экономно использовали свои студенческие средства.

Суламита завела толстую тетрадь: «За каждый ужин будешь вписывать сюда новое стихотворение». После «каторги» Кудрейко набросать несколько строф – не труд. Во мне распрямлялась пружина – гены Пешего Мусы, импровизатора, деда по отцовской линии. Пока Суламита на кухне жарит котлеты, я успеваю заполнить пару страниц. Иногда спонтанно, но чаще это были «домашние заготовки». Она входила с благоухающей сковородкой и не допускала до тарелки, пока не продекламируешь написанное.

Однажды Суламита сообщила, что ужин состоится в другом месте. Так я впервые встретился с Борисом Слуцким.

Что-то физики в почёте,

Что-то лирики в загоне:

Знать, в стремительном полёте

Не взметнулись наши кони!..

Седой, крепкий телом и литературным именем человек. Один из возбудителей поэтической волны послесталинской «оттепели».

Зашли в кабинет. Большая комната – книжные полки и скульптуры. На пустом письменном столе увидел свою «котлетную» тетрадь.

«Я слышал, вы за ужин рассчитываетесь стихотворением. Здоровые традиции нарушать не будем. Подарите мне одно из этих. Я уже выбрал». Он открыл тетрадь, прочёл: «Ребята, судите по мне о казахах». Эту строку не жалко? Я сейчас пишу о Назыме Хикмете. Никак не могу найти ключа к его образу. Слишком близко его знаю. И вот он, ключ – судите народ по поэту. Мне бы такая строчка не явилась. «Ребята, судите по мне о евреях». Даже Карл Маркс и Эйнштейн не имели бы права на такое заявление. Евреи слишком многообразно известны миру. И одна личность, даже самая выдающаяся, не может представить собой всей этой мозаичной расы. А турки в нынешнем мире не так славны. Казахи – тем более. Может быть, это и хорошо. Сознание, что ты не сам по себе, а по тебе судят обо всём народе, должно воспитать личность. Я казахов на войне встречал. Хорошие солдаты, исполнительные, нетребовательные. Но поэт – более собирательный образ. В нём все качества племени – и дурные, и хорошие. Многие, с кем вы мимолетно встречаетесь или встретитесь, никогда не общались с казахами. Они будут знать о вашем народе только то, что увидят в вас. Любой, даже случайный штрих вашего поведения гиперболизируется в портрет казахов. Выпили ненароком – «казахи – пьяницы!». Уступили в драке – «казахи – трусы!». Изобрели велосипед – «казахи – гении!». Никаких полутонов, это свойство массовой психологии. Литературная среда подвержена тому же. Знание казахской поэзии в Союзе близко к нулю. В мире и того меньше. Может быть, в оригиналах она гениальна, но в переводах никого ещё не заинтересовала.

Вы собираетесь обходиться без переводчиков. Значит, берёте на себя обязанность в единственном числе представлять всю оригинальную казахскую поэзию перед российским читателем. Да-да, именно по вашим вещам будут судить о ней в целом, во всей глубине. Теперь на переводчиков

не свалишь. У ваших русских сверстников доля полегче. За ними великая история, слава предков, громадное культурное наследие.

Русский поэт имеет возможность быть посредственностью. Вы – нет. Любите скульптуру? Я недавно увлёкся, вот сколько насобирал. Вучетич удивился: «Это ты наваял?» Прелестная терминология. Поэт должен заинтересоваться всем, не только строчки коллекционировать. Отвлекайтесь от стихов, не думайте, что этим обкрадываете мировую поэзию. Тогда стихи пойдут. А упрётесь взглядом в одну точку – вспугнёте музу. Она не любит домогательств...»

Некоторое время спустя вышел новый сборник Слуцкого. Стихи, посвящённые турецкому другу, начинались со строк:

...Судите народ по поэту,

Я о турках сужу по Назыму Хикмету,

По-моему, турки голубоглазы...

V

Смотри, на кургане, где ветер поёт,

Где слышится волчий плач,

Вцепившись корнями в сердце моё,

Шатаясь, стоит карагач!..

Эти строчки из моего тетрадного стихотворения отметил Леонид Мартынов. Его «Лукоморьем» в то время зачитывалась молодёжь. Эта необычной пластики поэзия была мне особенно близка. Слуцкий понял и показал тетрадь Леониду Николаевичу.

Он пригласил меня к себе на Ломоносовский проспект. Я с порога начал быстро говорить о своём отношении к его вещам, он остановил:

– Полно. Будет. Так-то вот. Хотя, не скрою, пятёрки получать всегда приятно. В душе мы все отличники. Вот и вам я ставлю за первые экзерсисы «хорошо». У большого читателя выпросить добрую отметочку будет потруднее – вот.

...Вы ещё не читали Чокана Валиханова? Был такой гений у нас. Нет, не алашординец. В девятнадцатом столетии ещё. Почему наш? Такие рождаются от двух родителей. Степь одна бы не смогла произвести. И Россия без Европы не породила бы ни Пушкина, ни остальных из золотого века. Без

немецкой философии, без Байрона и французского романа. Александр Сергеевич вместе со сказками Арины Родионовны впитывал Вольтера. Потому и стал – Пушкин.

...История, скажу, не сплошное «худо», бывает и «добро», если выводы делать. Русь вот по истории своей то сверху, то снизу, то на спине. Истязали, насиловали, страдала, но рожала! И чёрненькие, и рыженькие – все её дети, деточки, детища. Благодаря им вставала, выпрямлялась уже не Ева, но Адам. Не Русь, а Урус. И навязывает окружающим свою любовь. Топчет, как хочет, кого захочет.

Чокан – порождение такой любви. Да и вы, и целое поколение вам подобных. Ну так используйте вашу сложную генетику! Не давайте степи залежаться. Не то насилие в привычку, в удовольствие станет и ей самой. Тогда ничего не породит.

Вот если такие, как вы, напомнят ей, что когда-то была Адамом, то встанет, даст бог, настоящим Казахстаном, братом России.

Вы знаете, я – омский. Жили мы рядом с Казачьим базаром. У нас часто тамыры из степи останавливались. Имён не помню, но помню, что называли себя адами. Потом, уже взрослым, узнал: «адам» по-казахски – просто «человек». А мальцом, когда закон божий проходили, библейского Адама представлял долго в образе казаха. Кнут за поясом и малахай, как нимб. Так вот.

...Летом 1959-го в «Литературной газете» появилась большая подборка моих стихов. Предисловие Леонида Мартынова под крупно набранным заголовком «Доброго пути». Такого рода публикации с напутствием мастера стали традиционной рубрикой в «Литературке».